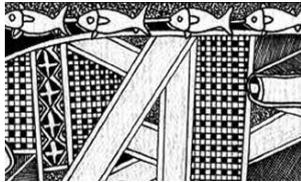


Предисловие

Принято говорить, что жизнь – вроде зебры – в черно-белую полоску. На самом деле она редко достигает такой глубины тона, чтобы быть по-настоящему черной или белой. Она какого-то нейтрального цвета, и по этой серенькой поверхности непрерывно движутся, скользят Свет и Тени, Свет и Тени...



Елена Счастливецва

г. Санкт-Петербург



Печаталась в журнале «Север» в 2013 году, повесть «За рабочее дело»; рассказ «Шишки» получил 2-ю премию лит. конкурса им. Короленко в 2014 году; журнал «Север» №3-4 2015 — рассказы «Шишки», «Самый счастливый день», «Урок китайского».

ШИШКИ

Шишók – леший, черт, домовый, вредный и старый, но не очень злой, по мнению автора.

На крохотной кухне обедали молча; стучали ложками, глотали суп. Виною была Вовкина двойка. Вчера, к тому самому времени, когда Вовку кто-нибудь из родителей забирал от деда с бабой спать, он вспомнил о докладе. Вовке необходимо было сделать небольшое сообщение по истории на тему, озвучить которую он никак не мог. На скомканном клочке, выпавшем из перевернутого вверх тормашками портфеля, с несколькими ошибками было написано: «Чесменская церковь как парафраз готики».

– Небольшой доклад, – Вовка извиняюще заглядывал в округлившиеся глаза деда и бабки. – Всего на пол-листочка маленький такой докладик...

Бабушка рванула ко Всеобщей истории искусств, дед – к Большой Советской Энциклопедии, Вовка – к Википедии. Совместный труд был судорожно сляпан минут за двадцать и благополучно забыт Вовкой утром дома. Другими словами, двойку по истории работали совместно.

– Деда, Людмила Алексеевна сказала, чтобы ты пришел завтра в школу... – Вовка безуспешно пытался разрядить обстановку. Двойку дед с бабой воспринимали острее него.

Дед строго посмотрел на внука поверх очков.

– Не, честно. Она спросила: «Был ли у кого-нибудь дедушка на фронте?» Никто руку не поднял, а я поднял и сказал, что мой дедушка – блокадник. – Вовка водил ложкой в супе, изображая процесс поедания.

Дед глядел в тарелку, медленно подносил ложку ко рту и еще более медленно жевал десятком сохранившихся зубов.

– Ну, так ты пойдешь?

– Я же не герой: был тогда ребенком. – Сказано было категорично и почти по буквам. Суп деда интересовал куда больше беседы с подрастающим поколением.

– Давай, деда, сходи! – Вовке на помощь пришла бабушка.

– Кому это интересно? – вяло отбивался дед, не отводя глаз от супа и ложки.

– Детям, – бабушка заняла наступательную позицию. – Дети должны знать.

Дед устало вздохнул, но отвечать передумал.

– Так ты пойдешь? – спросил Вовка.

– Нет! – Дед доел суп и протянул бабушке тарелку для второго. – Никаких подвигов я не совершал.

– Как же, дед? У тебя медаль «За оборону Ленинграда»!

– Так ее всем давали, кто 900 дней пробыл в городе, не уехал в эвакуацию и работал. Маме моей дали, папе, тетке твоей. У нас вся семья – герои-медалисты. Соседка Матрена Терентьевна тоже героиней была.

– Дед, а я учительнице уже обещал... – Вид у Вовки был совершенно подавленный. – Ну, расскажи хоть что-нибудь, а я в классе это перескажу.

Казалось, дед ничего не слышал: он так же аккуратно, как и с супом, разделялся со вторым,

– ...Когда удавалось достать желатин, – неожиданно начал он, – мы брали лавровый лист, уксус, горчицу. В блокаду почему-то с уксусом было все нормально. Все это перемешивали, медленно...

Эту историю Вовкина бабушка за пятьдесят лет жизни с дедом слышала не единожды, и весьма вероятно, что ели само варево меньше число раз, чем о нем рассказывалось, причем только о нем.

– Вся семья собиралась на кухне, наполовину загороженной чугунной дровяной плитой. Готовили СТУДЕНЬ! Разводили в кастрюле желатин, а к нему полагался самый настоящий острый соус! Тетка Аня искала лавровый лист, тетка Зося – черный перец... Приготовления к варке студня шли степенно и величественно-осознанно. Это был даже не процесс, не алхимия, а священнодействие! Не беда, что в том студне мясо не предполагалось, но студень можно было почти жевать.

Вот она, огромная семья, на довоенной фотографии: все улыбаются, все покойники – даже те, кто не попал в кадр, не добежал, не успел. Невидимый фотограф, не знакомый последующему поколению дядька Антон нажал на кнопку. Фотоаппарат клацнул, а спустя месяц в темной кладовке, при свете малиновой лампы, они все плавали в такого же цвета жидкости, извиваясь фото пленкой и устрашающе улыбаясь, обнажая черные зубы.

Живы только Вовкин дед и его сестра, хлопнувшаяся год назад головой о кафельный пол в сортире и оттого полностью потерявшая разум.

Она, будучи в здравом уме, любила другую байку: как с подружками рыла окопы, а в обстрелы, когда чуть стихнет, выползала на поверхность — покрутить ручку патефона или подтолкнуть заевшую иглу, с опаской озираясь на воюющие небеса, и быстрее попластунски назад: дослушивать песенку водовоза из «Волги-Волги». Таков был ее посыл в историю, завещание человечеству.

Воспоминаний про студень Вовке явно не хватало: не тянуло оно на «урок мужества», никак не тянуло. Дед, вероятно, и сам так посчитал, а потому далее последовала еще одна занимательная история.

— Сосед с третьего этажа один остался. Ходить на улицу не мог, он взял и вытащил на лестницу бадью с нечистотами и вывернул ее вниз в пролет.

Вот эта история пришлась Вовке по вкусу, а дед безразлично продолжал: — Но он все равно потом умер.

— А как же вы мимо ходили? — Нечистоты на Вовку произвели большее впечатление, чем немощность и смерть безвестного соседа.

— Так замерзло сразу, весной оттаяло, убрали.

Вовка уже сполз со стула. Необходимую ему информацию он из деда выбил, и завтра перед учительницей ему стыдно не будет.

— Вовка, не убегай! Дед, ну надо какую-нибудь другую историю для детей. — Бабушка преследовала сразу две цели: не обидеть деда и отобрать рассказы для класса.

— Как вы не понимаете? — дед заскрипел остатками зубов. — Об этом говорить нельзя!

Вовка с бабушкой пригнулись и притихли.

Об этом никогда никто не говорил, об этом не думали; во всяком случае, старались не думать. Его родня, поредевшая, собиравшаяся по самым незначительным поводам в гостиной за огромным дубовым столом, беседы вела о всякой бытовой ерунде.

О чем угодно, только не о 41-м годе, стараясь вытравить хоть малейшее воспоминание. Даже оговорки, даже случайные реплики не проскальзывали никогда! А вот то, что сказала вчера соседка или дама в троллейбусе... Любая мирная мелочь во сто крат была важнее. Дед гнал прочь воспоминания о детстве, тетки — о юности. Всем им это почти удавалось, и чем дальше, тем больше.

Другими словами, последующее поколение о безымянной даме в троллейбусе или даже в трамвае, а уж тем более о сельском

хозяйстве Гондураса или Тринидада с Тобаго знало куда больше, чем о прошлом своей семьи.

— Вам ведь просто любопытно, а мне на некоторые фотографии больно смотреть! — Дед замахнулся, намереваясь ударить жилистым кулаком по столу, но попал в тарелку с недоеденным пюре, которую бабушка ловко подхватила. Злобное выражение искорежило лицо старика. Он вытер грязный кулак сначала о край стола, затем схватил и утерся висевшим кухонным полотенцем и молча, демонстративно, удалился к себе в комнату спать.

Пока шаркал тапочками до своей комнаты, немного поостыл. Лежа со сложенными на груди руками, он подумал, что напрасно погорячился. Вот теперь не уснуть, привычный распорядок нарушается. Дед, широко раскрыв рот, зевнул; из глаз выкатились слезы, но сон не шел...

Внук крайне не радовал деда своим поведением: от телевизора и компьютера не оторвать, читает из-под палки... На ум пришло высказывание Чайковского о том, что из детства человек черпает воспоминания и впечатления всю жизнь. А что у Вовки будет за душой, когда вырастет? Компьютерные стрелялки и троечные знания?

От Вовки с Чайковским мысль деда плавно перешла к куплетам Трике из «Онегина».

Как же он их не любил! До чего привязчивые! Их частенько передавали по радио. И крутятся они в голове, и крутятся... Позднее, чтобы их выбить, он напевал «Танец с саблями» Хачатуряна. Иногда помогал. А тогда он мальчишкой спешил вдоль Обводного на «Красный треугольник», где работал; спешил и пел эти дурацкие куплеты.

Светило солнце: первое весеннее ласковое дезинфицирующее солнышко, под которым оголяли гноящиеся и смердящие язвы человекоподобные выползки из соседних домов. Он шел мимо них, а глаза против воли разглядывали и ощупывали каждую выставленную, как на показ, язву. С тех пор бал у Татьяны и объяснение Ленского с Онегиным у него неразрывно связались с этими уродливо-безликими человеческими огрызками, помноженными на детские страхи. Где там американским ужастикам! Слабаки!

Дед зевнул, сам перед собою пытаясь спрятаться за маску равнодушия, но за закрытыми дверями комнаты его никто не видел, а потому мысли потекли в печальном русле и скоро оттуда не выбраться.

«Какой уж там сон!» — это он сказал сам себе вслух. Зачем они окунули его ТУДА?

Он, понуро и послушно, встал с кровати, нашел чистую тетрадку в линейчку, ручку и уселся за письменный стол, достал из футляра очки, водрузил их на нос. Наверное, он должен им что-то оставить?.. И они правы...

По Обводному он часто ходил, а вот почему оказался один на Фонтанке, у Обуховского моста? Подошли две женщины, что-то хотели узнать: как куда-то пройти, что ли... Обстрел начался неожиданно. Он юркнул в парадную, зажался в угол, подальше от двери, от близких взрывов, содрогаясь вместе с домом. Но ни громкое дыхание, ни стук сердца не заглушали близкие взрывы и визг в небе. Он без надежды прощупал взглядом каждую ступеньку лестницы — не было здесь безопасного места, как не было его и дома с мамой. Когда утихло, он выглянул на улицу. Женщины лежали недалеко и были тем, чем мог бы быть он. Рядом с ними из сугроба высывалась потемневшая одеревенелая рука.

...Дед очнулся в темноте от стука метронома. Старик потряс головой. Очки свалились с мокрого от слез лица, метроном исчез: это Вовка, вырвавшийся от приготовления уроков, дубасил палкой по картонной коробке. Старик, вздыхая, встал, упрятал тетрадку глубоко в стол. Скорбные мысли, обращенные в слова, покинули его, а потому дед объявил Вовке, что на «урок мужества» пойдет, если только будет хорошо себя чувствовать.

Назавтра, проснувшись, он никак не мог вспомнить, что же такое неприятное должно случиться именно сегодня. Мылся, одевался, кровать убирал — и не мог вспомнить, никак не мог. За завтраком, когда кашу ел, вспомнил. Стало еще тяжелее, но он знал, что в школу не пойдет.

После завтрака дед надел удобные валяные чуни и меховые варежки, натянул ушанку с опущенными ушами по самые свиные брови; приподняв бороду, укутал шею мохнатым теплым шарфом, взял палку и вышел на улицу. И с каждым шагом в противоположном от школы направлении он чувствовал себя все более и более свободным.

И оттого, что убежал ото всех, в аптеке дед оказался в чрезвычайно веселым расположении духа, а покупая привычные лекарства впрок, даже, нагнувшись к окошечку, оригинальнейшим образом пошутил с аптекаршей:

У меня давно ангина
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит.

Девушка-аптекарьша, как ему показалась, его не поняла. Окостенев, она сохраняла внешнюю невозмутимость — как и полагалось при работе с клиентами в тяжелых случаях.

— Что делать, классиков не читают! Молодежь! — Дед задорно ей подмигнул. Девушка опять не поняла:

— Вам чего, женщина?

— Ах, это не мне... — Чуть смутившись, дед отошел от окошечка.

И тем не менее все складывалось на редкость удачно: и лекарства он купил, и «Ессенуки» нужного, как опять-таки пошутил, размера; даже, когда домой спешил, ловко увернулся от белого джипа, выезжающего на дорогу.

И хотя дома деда встретили молчанием, он рад был, что никого не послушался, и к тетрадке с мемуарами он никогда не приронется...

В тоненькой школьной тетрадке, беспорядочно, на разных строчках и страницах под Вовкиным заголовком «Домашняя работа» было написано корявой рукой:

холодно
 обстрел, их убило,
 страшно
 темно
 умер,
 съел мамин хлеб, говорит, есть не хочу
 темно
 стук в дверь, шаги
 хохочет, сошел с ума, зверь
 умер, голод
 страшно
 темно
 метроном.

Это были не мемуары с крайне любопытными бытовыми зарисовками — это был прорвавшийся из прошлого ужас.

По расписанию у Людмилы Алексеевны должен быть классный час, но поскольку на носу 23 Февраля, он заменялся на «урок мужества» с воспоминаниями ветеранов. Где их взять, этих ветеранов, и чтобы в своем уме? Накануне Новиков из ее класса пообещал, что его дедушка-блокадник придет, если будет себя хорошо чувствовать.

Людмила Алексеевна запаниковала было, подумав, что это дедушкина форма отказа. Ее мама, посвященная во все подробности учебного процесса, посоветовала позвонить своему соседу по подъезду; тот на 9 Мая всегда при медалях ходит. А что, если сейчас в класс одновременно явятся два полуглухих, незнакомых и уж точно полоумных, повернутых на политике старика? Сколько будет крику и ругани, дуэтом, не слушая друг друга, перед детьми...

Людмила Алексеевна вздрогнула: нет, лучше она сама проведет в классе этот «урок мужества»! Она — учительница французского, мать двоих детей, одиночка. Оставшееся время посвятит классному руководству. К счастью, никто из стариков не появился. Новиков поторчал в дверях класса, поговорил с кем-то по телефону и понуро поплелся к своей парте.

«Оно и к лучшему», — подумала Людмила Алексеевна, глядя на него. Зазвенел звонок, и она только успела открыть рот, как в класс вошел ветеран, мамин сосед. Не вошел — явился, выплыл, торжественно наодоколоненный какой-то дрянью, при медалях, в отглаженном добротном костюме, диссонирующем с дрябло висящей стариковской кожей. Людмила Алексеевна устыдилась своих мыслей: для нее этот «урок мужества» — галочка, причем не самая приятная, а для старика — событие.

— Ребята, к нам в гости пришел замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны Иван Акимович Петушков. Похлопаем ему!

Акимыч смутился.

— Иван Акимович, проходите, садитесь за мой стол, пожалуйста! — Людмила Алексеевна отошла за последнюю парту, чтобы лучше видеть, чем сорок пять минут будет заниматься ее класс: двадцать пять человек в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Акимыч зашагал от двери к учительскому столу. Старик устал, он даже непроизвольно наклонился вперед, чтобы быстрее добраться до стула. Выглядело это комично: ряды медалей свободно болтались и позвякивали, пиджак сзади топорщился в виде журавлиного хвоста, выставленная вперед желтая узловатая рука искала спасительную спинку стула. Наконец она была поймана.

Акимыч, с грохотом отодвинув стул, плюхнулся на него, весомо выдержав паузу, солидно откашлялся и начал:

— Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз... Первые дни войны... героическая оборона Брестской крепости... всюду организовывались партизанские отряды...

Голос у Акимыча был зычный, командный, и ребята быстро присмирели. Когда ветеран добрался до героического подвига жителей блокадного Ленинграда, Новиков приуныл. Людмила Алексеевна видела, как он повесил голову, сник, но вскоре принялся рисовать смешную рожицу на клочке бумаги.

— Иван Акимович, расскажите нам что-нибудь из своей фронтовой жизни. — Людмила Алексеевна сама бы могла провести такой «урок мужества» — разве что без блеска медалей.

— Мои воспоминания... — Акимыч сурово нахмурил одну бровь. — Тяжелое время было, ребята, очень тяжелое... Вот в партизанский отряд, например, забрасывали, ночью забрасывали с самолетов, чтоб фашисты не видели. А партизаны внизу, они костры, значит, развели треугольником, чтоб самолеты видели, где парашютистов сбрасывать. Летчик-то не знает, партизаны те костры развели или диверсанты и предатели... Самолеты у нас не простые были, У-2 назывались. Они низко так летали. Летчики туда не хотели идти, девчата на них летали...

Людмила Алексеевна насторожилась: сюжетик показался ей слишком знакомым, но дети слушали.

— Ох, девчата эти песни любили! А как они плясали... Закружится так лихо под гармошку! Э-э-э-эх! Но и среди наших ребят летчиков, ого-го, какие таланты были! Летчик один у нас замечательно пел песню про смуглянку. Так его Смуглянкой и звали, а смуглянка — это же девушка!

Ребята засмеялись, засмеялся и Акимыч. Он как-то быстро и легко стал детям своим.

Людмила Алексеевна смотрела на разговорившегося старика и с грустью думала: «Вот она, старость!» Сидит дед, сухой, как палка, как ее указка у доски. Бледно-желтая, с пигментными пятнами кожа обтянула лысую, с бородавками, башку, которая уже не помнит, что было с ним, а что — в телевизоре. В повествовании о героической фронтовой жизни Акимыча Людмила Алексеевна насчитала не то пять, не то шесть фильмов. А сколько было склеротически пересказанных до неузнаваемости? Вот так и она когда-нибудь будет своим внукам воспоминания на уши вешать, искренне веря во весь тот бред, что несет.

— ... предатели Родины ...Иосиф Виссарионович...

Людмила Алексеевна вздрогнула: этого она боялась больше всего.

— Иван Акимович, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли. — Она посмотрела на часы: до конца урока пять минут. Продержится! Людмила Алексеевна нейтрализовала Акимыча,

мажорно заговорив и об уважении к старшим, и о любви к Родине, и о том, о чем необходимо было сказать на классном часе; Акимыч победоносно оглядывал класс.

Перед тем как вручить старику три чахлые гвоздички и коробку конфет, купленные на скудные деньги родительского комитета, она попросила его сказать что-нибудь напоследок. Акимыч поведал о том, как важно учиться и спортом заниматься; мальчики должны воинами быть, да и девочкам не следует отставать. Прозвенел звонок. Тут только дети загудели — Акимыч держал в напряжении класс весь урок. Это был подлинный триумф.

Старик, стоя в коридоре, испытывал почти головокружительную легкость. Он бы даже побежал сейчас, как мог, в душный класс к детям, к грязной доске с разводами мела — ко всему тому, что дало ему острейшее ощущение полета, счастья. Акимыч оглянулся, но дверь уже была закрыта.

— Эх! — махнул он рукой. — Еще раз приду, обязательно приду!

В том, что его позовут скоро, очень скоро — может быть, даже на следующей неделе, — Акимыч ничуть не сомневался: он видел, как его слушали!

Но старик не заметил, как исчезла учительница; как шмыгнули мимо пацан с точно такой же коробкой и гвоздиками для бабушки. Радость переполняла Акимыча, но не только она одна, еще и гордость за себя; за свой аккуратно отглаженный костюм с тремя рядами медалей; за белоснежную рубашку и галстук; за красные цветы в руках.

Акимыч спустился с третьего этажа в гардероб, и все шныряющие взад и вперед ребятишки почтительно обегали его: идет ветеран, герой. Гардеробщица помогла надеть ему пальто, а он, не привыкший к такому обхождению, все не мог попасть в рукав.

— Ах ты, господи! — добродушно сокрушался он. — Ну, спасибо, голубушка, спасибо!

Голубушка расплылась в улыбке.

Акимыч вышел на улицу и сразу понял: праздник закончился. Двери школы захлопнулись, и теперь он опять просто дед, согбенно и медленно идущий по улице. Ну, пусть с цветами и конфетами, но все равно — обычный старик. Грустно... Но ему звонко запела синица, и не одна. Акимыч весело подмигнул сам себе. Ничего, прорвемся! Господи, сокрушался Акимыч, ну почему он в школу к детям пришел так поздно, почему не ходил раньше? И хватит ли у него времени все поправить? Это ведь правда, что дети — наше будущее...

Он брел домой. Тротуар был не то скользкий, не то мокрый — конец зимы. Акимыч не торопился, шел медленно и осторожно.

Правильно старуха ему дома говорила: «Не ходи, упадешь!» А он молча хлопнул дверью, еще и палку не взял, дурак, постеснялся ребят: с медалями – и с палкой.

И Акимыч не упал бы, но виной всему был идущий навстречу старик, отключивший зад, переставлявший ноги, ничего не замечавший вокруг себя. Вдобавок этот старик задел Акимыча своей палкой. Тот не удержался, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но успел только выкрикнуть фальцетом: «Стервец!» – и нырнул под колеса медленно выезжающего белоснежно-блестящего джипа с двумя грязно-черными капельками на морде.

«Стервец» адресовано было в пустоту, в никуда: дед, «подрезавший» Акимыча, был рассеян и глух и потому, как ни в чем не бывало, топал своей дорогой, не ведая, что он – стервец. Зато выскочивший из машины крепкий парень без слов схватил Акимыча одной рукой за шкирку, другой – за штаны на заднице и легко отбросил в сугроб. Он бросил его, как бросают мешок с мусором, хлам, и парню этому было абсолютно безразлично, кто и по какому поводу «стервец».

Так Акимыч очутился на вершине сугроба, дрыгая ногами, не достающими до земли. Крепко, как последнюю пядь земли, он обнял этот сугроб, боясь съехать на брюхе в лужу, в которой уже лежал ранее. Мысль, что его дергающийся зад, расчехленный развевающимися полами пальто, увидят школьники, придала Акимычу сил.

Он повернулся на бок и уселся. Сидел, как на насесте, крутил головой, пытаясь сориентироваться. От вращения в горизонтальное положение под колеса и обратно, в вертикальное на сугробе, он запутался, в какой стороне дом, но вытянутая вперед рука, как флаг, продолжала сжимать три революционные гвоздики с надломленными головками. Акимыч, разглядев «букет», в сердцах отбросил его.

Никого вокруг не было. Парень на джипе укатил так же молча, как и освободил проезжую часть. Дед, из-за которого Акимыч упал, даже не оглянулся, подлец. Ругаться было не с кем. Не было ни свидетелей его позора, ни прохожих, ни какой-нибудь старухи-квашни, способной его пожалеть, отряхнуть и помочь, причитая, слезть с грязного сугроба.

Варежки Акимыча промокли, кальсоны задрались к коленям, под резинки носков забился грубый жесткий снег. Стало ужасно жалко себя, и, сперва тонко-тонко и пискляво, но с каждым вздохом и всхлипом все горше и громче, Акимыч завыл. Слезы выкапывались и липли одна к другой где-то между тощим кадыком и шарфом.

Сделалось сразу мокро и зябко. При этом зад у Акимыча был совершенно сухой, но он ощутил им вселенский мертвецкий холод. Этот холод медленно шел из-под промерзшей земли, и он тянул Акимыча туда, вниз, сквозь остекленевшие сугробы. Так было в первый год его работы на Соловках...

Мальчишкой Акимыч был совсем, птенцом, неоперившимся. Когда охрана из церкви-изолятора на горе выволокла мужика, бородатого такого, невысокого... Тот все приговаривал: «Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте...» Окал мужичок; может, одних мест он был с Акимычем, а может, и нет. Разве сейчас узнаешь? Потасили его к лестнице деревянной, к верхней ступеньке. А было этих ступенек аж четыреста штук! Ноги мужика не слушались, заплетались от страха, а он знай долдонил все одно: «Помилосердствуйте» да «помилосердствуйте».

Попятился Акимыч тогда, цепляясь за него взглядом. Оба они знали: то, что сиюминутно было еще человеком на верхней ступени лестницы, пролетев их четыреста штук, внизу будет даже не телом, а месивом, и этим месивом должен быть провинившийся мужичок. «Поше-е-е-л!» — Некиференко и Стасюк слаженно гаркнули, поднапружились, подкинули мужика, и тот исчез, «пошел».

Крику не было — только стук. Когда затих и он, Акимыч медленно осел в сугроб. Фалды жесткой шинели приподнимались и встали колоколом, винтовка за спиной поползла вверх, ушанка съехала на нос...

...Там, далеко внизу, лежала полоска Белого моря, белого от снега. Ближе к Акимычу оно процарапалось серо-черными стволами редких деревьев. Это был берег. А где море у горизонта поднималось, было небо: бледное, с пеленою облаков...

И облака эти со снегом холодным саваном объяли и сковали Акимыча.

— Яйца заморозишь! — он очнулся. Нос точно замерз и покраснел до прозрачности. Акимыч потерял нос и даже куда-то пошел, но куда бы он ни шел, он везде за ним плелся покойный мужичок, а товарищи из охраны буравили их обоих глазами. Темнота, в которой можно скрыться, не наступала. Бесконечен был тогда этот короткий северный день.

— На! — Некиференко, старший из охраны, глядя исподлобья, протянул ему стакан слабо разбавленного спирта. Акимыч выпил, но лучше ему не стало. Чуть отлегло, когда Некиференко объяснил, что мужик с бородой — враг. Враг тот не только окал, но еще и не выговаривал «р», а «с» и «з», шлепая губами, произносил со

свистом, и потому никак у Акимыча не получалось до конца поверить Некиференко. Никак! Через день был еще один стакан, и еще. А потом была Танька...

Не любил вспоминать он те годы, забыть их старался, рад был, что перевели на Большую землю. Когда началась война, на фронт просился — не пустили. Здесь нужен! И он понял: служба везде служба. Он на своем посту, рогатый не должен, время суровое! Служил он честно, боролся с врагами внутри страны, и уже без соплей. Дальше все пошло путем, но на встречи с пионерами не ходил, о службе помалкивал.

В глубине кармана штанов зазвонил телефон,

— Деда, ты куда пропал? Мама волнуется! — Звонил правнук, названный в честь него. Акимыч засуетился, шмыгнул носом, брякнул медалями под пальто, небоевыми.

Куда-то запропастились конфеты... Акимыч сполз с сугроба, выудил из мешка на дороге коробку конфет «Наслаждение» и пошел домой.

«Хорошо, что коробки сейчас затягивают полиэтиленом, а то испортились бы конфеты», — подумал он.

Случай на болоте

— Земля! Земля! — но крик этот остался без ответа. Глас вопиющего. И его не заглушила ни беспорядочная пальба из пистолетов с длинными стволами, с загнутыми деревянными рукоятками, ни радостный хор луженых, испытанных ромом и крепким табаком мужских глоток. Тишина! А потому он раздался вновь:

— Земля! Земля! Григорьевна! Земля!

Поскольку доподлинно известно, что ни у Колумба, ни у Флинта не было не только Григорьевны, но даже и Тимофеевны с Гавриловной, то «земля» не имело никакого отношения ни к атолловым островам, ни к миражам, парившим не то в небе, не то в море, не имело оно отношения ни к разодранным парусам, сломанным мачтам, протухшей воде в корабельных бочках, ни к зачервивевшей солонине и раскисшим галетам, собственно, как и к экспедициям Магеллана, Васко да Гама и прочих.

Кричал Ленька, сын бабки Дуни. На морях-океанах он, как и его бабка, никогда не бывал, ничего там не забывал, а следовательно,

и охоты тащиться туда особенной не имел, ему и здесь было плохо.

Ленька вынырнул из-за дощатого продуваемого ветрами нужника, пристроенного к дому Григорьевны. Легко отбросив подальше от себя лопату, он набрал полные пригоршни того, что по его разумению землей никак быть не могло. Почти впрыскав кривые ноги сами понесли его через бугристый, кое-как перекопанный огород к Григорьевне.

Сапоги соскальзывали с обросших, некстати позеленевших комьев в хлопающие ямы, но подобострастно вытянутые вперед ладони, хотя и не с золотым зерном и не с водою Волги-матушки, драгоценный груз не просыпали.

Ленькин восторженный взгляд споткнулся о перекошенное злобное лицо Григорьевны. Ленькина физиономия изобразила еще больший восторг — на Григорьевну не подействовало, никак, не проняло.

«У, падла, — широчайше улыбаясь, подумал Ленька. — Заметила!»

Григорьевна заметила, еще как заметила.

— Ты, паршивец, мне какую печку наклал? А?

— Ты, че, Григорьевна? Ты глянть, че у тебя в уборной-то делается? Глянть! Чудо какое! Говна совсем нет! Даже не пахнет, — Ленька для достоверности поднес ладони с содержимым к носу и звучно втянул воздух. — Земля!

— Ты мне зубы-то не заговаривай. Земля у него! Полюбуйся на свою работу!

Любоваться работой Ленька не стал, а лишь слегка скосил взгляд.

— То ж Витька клал, — со спокойным достоинством поведал он.

— Витька! Я вам двоим деньги давала! Целых три тысячи! Да еще и по пять пачек папирос!

— Витька печку клал, а я огород копал, — вяло отрещивался от делового сотрудничества Ленька.

— Огород он копал, за три тысячи рублей дерновины вывернул! — но Ленька был уже в нужнике, увильнув, схватившись за лопату, он с головой ушел в работу, раскидывая по развороченным грядкам чудодейственную землю. Григорьевна осталась на краю своего огорода в темной нетопленной бане, более того, затопить такую баню было совершенно невозможно, разве что спалить с горя. Широко расставив ноги в трениках с оттянутыми коленками, нависающих на резиновые сапоги с комьями холодной осенней

грязи, Григорьевна вполне могла бы сойти за трагически одинокое пугало, если бы не чрезмерная для пугала полнота. Она еще покричала и помахала руками, но слушать ее было совершенно некому, даже ворона небрежно обронила свое «кар-р-р» и улетела.

Мысли в голову лезли большей частью матерные, однако Ленька был недосыгаем: живенько вычистив выгребную яму и раскидав содержимое по огороду, он исчез, испарился, оставив после себя глубокие следы и лопату. Григорьевна с тоской глядела на то, что в мыслях собиралась сегодня затопить. Выложенные Ленькой с Витькой вряд кирпичи без перехлеста при сооружении печки веером разошлись, исторгнув котел из нутра каменки. И за эту грудку кирпичей, за рухнувшую на нее сверху в изнеможении трубу, за дыру в крыше Григорьевна заплатила три тысячи!

Печальнее всего, что даже под замком ту кучу на зиму оставлять никак нельзя: растащат по кирпичику и не один Ленька. Утешало то, что печку складывали по старинке, не на цементе, на глине. Значит, Григорьевне придется сейчас либо карячиться и таскать ведрами с берега мокрую глину, а затем класть печку с трубой, либо перетащить все кирпичи в сарай или сени, где замки посерьезнее.

Никак не ожидала Григорьевна, что так все сложится. Утром дома в городе, в полной темноте, она растормошила внука в кровати, теплого, сонного, мягкого, безуспешно попыталась впихнуть в него завтрак, но, испугавшись, что опоздают, протащила за собой по улице вдоль домов с редкими освещенными окошками. На автостанции она купила льготные билеты, села в автобус, заткнула внуку Кольке рот чупиком и поехала по главной трассе страны, из пункта А в пункт В, как и промежуточный пункт С, увековеченные двести с лишним лет назад в сочинение господина Радищева.

Не заметив, как небо за окном автобуса из черного сделалось серым, Григорьевна провожала остекленевшими глазами уплывающие в туман за окном деревья с редкими застывшими в воздухе желтыми листьями, сонные покосившиеся полусгнившие хатки, оставшиеся в предсмертной предзимней убогой наготе, как шелуху сбросившие вокруг себя засохшие цветы в палисадах и поникшую ботву на грядках. Смиренность и безнадежность здешних мест чувствовались бы куда острее, если бы не процветающий придорожный бизнес, приветствующий всех проезжающих полощущимися на ветру флагами махровых полотенец взбодряющих окрасок преимущественно с голыми полногрудыми женщинами.

Григорьевна миновала не числившиеся в революционном творении Радищева указатели поселков Первомайский и Пролет-

тарий, она почти уснула с открытыми глазами рядом с притихшим Колькой, очнувшись только когда автобус остановился. Поспешно схватив внука за руку, она пробралась к открытым дверям, вдохнувшим сырость и холод. Колька захныкал, Григорьевна утешала, что «щас» придет их другой автобус. «Щас» – это через час сорок пять. Когда Колька совсем свыкся с тяжестью положения, подошел автобус, «Пазик», как и во времена торжества развитого социализма.

Колька залез в автобус: там было так же сыро и холодно, как и на улице. Колька дрожал всем тельцем, то попадая, то не попадая в такт трясущемуся по грунтовой дороге автобусу. Поерзав и устроившись поудобнее в норке между теплой бабкиной рукой и круглым мягким животом, Колька повернулся к окошку: там был лес, если смотреть и в свое окошко, и в окошко напротив.

Сосны темно-рыжими мокрыми стволами то поднимались по пригоркам, то спускались вниз к такой же пропитанной влагой рыжей песчаной дороге. Мелкий бестелесный подлесок терялся на фоне сухой поникшей травы, сливаясь не то с туманом, не то с низкими тучами, распластавшимися по небу.

Но когда из тумана выплыла и опять уплыла черная гладь болота, утыканная гнилыми обрубками берез и сухими остовами елей, когда на краю этого болота явилось толстенное высоченное дерево, не то недорубленное, не то недогрызанное, Григорьевна пояснила: «Бобры». Колька покрутил головой, но ни бобров, ни дерева уже не было.

Григорьевна молчала, уставившись в окошко, и Колька куда-то уставился, пока не показали огороды, а затем и избы деревни. Григорьевна, крихтя, спустилась по ступенькам: «Дома согреемся», – пообещала она выпрыгнувшему из автобуса Кольке. Но холод был везде. Он повис туманом над домами, втягивая редкие дымки из труб, он пробрался за калитку Григорьевны, которую она, гремя замками, никак не могла открыть, встретил в сенях, спрятался в одеялах, которыми был укутан Колька.

– Щас, щас, – суежилась Григорьевна с радиатором, с печкой, дровами, чайником. Когда Колька был принудительно накормлен, когда напился дымящегося чаю из блюдечка, когда засопел, согрелся и уснул с сушкой в кулаке, вот тогда Григорьевна позволила на мобильный Леньке, чтоб нужник вычистил. Управившись с делами, пришла сама, посмотреть по-хозяйски каменку в бане. Увидела.

Колька спал в доме, Ленька исчез, а Григорьевна стояла у своего слегка покосившегося дома, частной собственности, кото-

рой владела единолично. То есть именно это и была ее «нефтяная скважина» и альпийское шале в одном флаконе: бывшая курятня, а ныне дровяной сарай, парник, дом в три окошка с двором, баня и огород.

В 90-х годах у них с мужем при разводе произошел передел собственности, приватизация...

Любила Григорьевна своего тщедушенького лейтенанта Сидорчука, ой как любила, не замечая ни кривых ног, ни острого кадыка, гуляющего вдоль длинной с гусиной кожей шеи, ни жирных угрей и прыщей. Правда, угри с прыщами скоро прошли, а сам Сидорчук становился все степеннее, росли и числом, и размером звезды на его погонах, росло брюхо, и в конце концов над этим округлым пружинистым брюхом под самое ребро ударил ему бес, крепко и наотмашь. Григорьевне достались внуки, а разлучница, кроме офицерской пенсии, получила все совершенно готовенькое: бордовый от выпивки пористый и мясистый нос, простатит и полный зад больных зубов, в смысле геморрой, по невообразимым физическим мукам вполне сравнимый с боевыми огнестрельными ранениями, но только не контузиями.

Впрочем, Григорьевна на отсутствие мужниных прелестей не жаловалась. Указав Сидорчуку с вещами на выход, она зажила одна в квартире не тихо, но размеренно. Дружила со всеми соседками и родней до седьмой воды на киселе, ходила и звала в гости по церковным и коммунистическим праздникам, наряжалась в цветастые платья, блистала золотом зубов и узловатых натруженных рук и по неписаной гарнизонной моде укладывала на голове взбитые пережженные волосы еврейской булкой-халой. В общем, любила пофорсить. Она и сюда приехала, залив волосы лаком, думала, после огорода снимет треники да к племяннице троюродной пойдет. Где ж ей знать, что вместо посиделок у племянницы с бутылочкой вина, купленной в универсаме по акции, будет тачка и груда кирпичей!

Управившись с кирпичами, кряхтя, перетаскав в сарай, она закидала их тряпьем и хламом, коего всегда было в предостаточном количестве. Далее Григорьевна подвезла пустую тачку к крыльцу. Вывернула ее у дома, вытряхнув песок, рыжие осколки кирпичей, рассыпуюся глину перед крыльцом, раскидала ее носком сапога и только потом завезла тачку в сарай и повесила на него замок. Сие действие должно было означать, что кирпичи в доме, а взлом дома более ответственная операция, чем взлом сарая.

Итак, кирпичи спрятаны, ложные следы выставлены напоказ, зато в крыше бани зияла дыра, и это в ноябре. Григорьевна по-

плелась к магазину искать мужиков, не успевших напиться. Таким условно трезвым оказался Витька, бывший столичный житель, но в далекие дни Московской олимпиады решением родной партии и правительства переселившийся в деревню.

Первым делом Витька отметил, что кирпичи в доме, а не в сарае, однако для верности все же спросил: — Кирпичи в дом перетаскала?

— Перетаскала.

— А чего не в сарай? — Витька доискивался до правды.

— Так в доме замки крепче. От таких умных, как ты, берегу.

— Ты че, Григорьевна, — Витька обиделся. — Я ж к тебе в дом никогда не лазал.

И, глядя печально сквозь дыру в крыше на небо, на низкие серые облака, послал Григорьевну за лестницей, потом за молотком, потом за гвоздями, за гвоздодером. Григорьевна так набегалась, что подумала: «Было б проще самой крышу оседлать, посылая Витьку то за одним, то за другим».

Вскоре крыша была залатана, что означало: течь она так и так будет, но не ручьем. Получив от Григорьевны то, за чем он шел в магазин, довольный Витька смылся.

И тут Григорьевна вспомнила о внуке: что-то подозрительно долго он спит.

Вовка действительно долго спал, так долго, что вспотел. Он выбрался на волю из-под тяжелых одеял, которыми был укутан. Сел. Скучно сделалось мгновенно. Когда пришла бабушка, он дорисовывал на русской печке десятый автобус. Автобусы выстроены были в ряд, хотя и не слишком стройный. Первым в ряду красовался самый большой автобус, за ним следовал чуть меньше, и так до десяти флагманы общественного транспорта украшали печку с двух сторон.

Бабка плюхнулась на стул прямо у входа: эту печку она собственноручно белила в конце лета, то есть чуть более двух месяцев назад. Как же она тогда упарилась! Сегодня, точно, все мужики против нее.

— Бабушка, правда, красиво? — Колька отвел от печки восхищенный взгляд.

Кольку хотелось выдрать, но Григорьевна слишком устала, и сил на порку не хватало. Она перевела взгляд с художеств на одухотворенное лицо внука, вспомнив, что в садике его хвалят по рисованию: — А что автобусы у тебя все одной краской выкрашены?

— Я потом, — автобусы Кольке надоели. Творению суждено быть неоконченным. Григорьевна вздохнула и засобиралась до-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru